

Jelena Sieriebriakowa
Uniwersytet w Woroneżu

Разрушение диалогизма в советской культуре 1960–1970-х годов

Диалогизм как сущностная особенность культуры реализует себя в различные исторические эпохи с разной степенью интенсивности. В 1960-е годы он проявился в советской культуре чрезвычайно активно. Тому были внешние и внутренние причины.

К внешним стоит отнести популярность левых идей среди западной творческой и художественной интеллигенции, испытывавшей вопреки логике «холодной войны» интерес и симпатию к советской культуре. В свою очередь советская культура в конце 1950-х – начале 1960-х годов стала более открыта к диалогу с Западом, что определяло проникновение в неё новых идей. И хотя политический лозунг тех лет «догоним и перегоним Америку!» отражал противостояние двух систем, он всё же предполагал ориентацию во внутренней политике на «иную точку зрения»: наличие другого образа жизни, иного типа экономики (что реализовало себя в попытках экономической реформы в СССР), эстетики (что обнаружилось не только в повышенном внимании к отдельным артефактам западной культуры – художественным выставкам, театральным постановкам и проч., но и в явном влиянии европейской культуры, например, французской новой волны и итальянского неореализма на отечественный кинематограф).

Основной внутренней причиной был XX съезд партии. Речь Никиты Хрущёва *О культе личности и его последствиях* декларировала решительный отказ от единоличного, «монологического» правления ради «многоголосого» коллегиального руководства. Показательно, что текст содержал ряд стилистических приёмов диалогического письма: сценки-зарисовки с натуры (приём, остававшийся частотным в выступлениях Хрущёва и впоследствии), диалоги партийных деятелей. Письма Сталину расстрелянных партийцев (эмоционально самые сильные фрагменты) вводили их живые голоса, придавали тексту выступления полифоническое звучание. Ремарки, фиксирующие реакцию зала (обязательный атрибут печатных версий речей советских деятелей), играли роль своеобразного комментария, «ответного слова» слушателей.

В общественном сознании интеллигенции сложилось представление о готовности партии к диалогу с обществом на паритетных позициях. Действительно, инициировав отказ от тоталитаризма, подтвердив реабилитацией невинно осуждённых граждан намерение оздоровить политическую ситуацию в стране, партийное руководство продемонстрировало обществу возможность нового типа взаимоотношений. Демократизация управления, провозглашённая на съезде, невозможна без учёта множественности позиций в решении общеполитических и культурных задач. Корректируя друг друга, они в свою очередь влияют на управленческие решения. Главный тезис эпохи «Социализм с человеческим лицом» определил значимость нравственных критериев в оценке политических событий внутри страны.

Такая трактовка политического момента не была следствием наивности или излишней доверчивости. Она соответствовала самоидентификации советской интеллигенции, окрашенной традициями русской культуры XIX века, согласно которой слой мыслящих людей призван осуществлять посредническую функцию между властью и народом, быть совестью нации. Будучи по социальному составу преимущественно рабоче-крестьянской, советская интеллигенция с полным правом могла представлять от имени народа. При этом система нравственных ценностей была унаследована ею от дворянской культуры: толерантность, уважение к собеседнику, внимание к иной, отличной от собственной точки зрения сочеталось с ответственностью за судьбу страны, готовностью к жертвенному служению правде. «Совесть, Благородство и Достоинство – вот оно, святое наше воинство», – провозгласил в те годы от лица интеллигенции Булат Окуджава. В конце десятилетия эти слова приобретут горький привкус.

Диалогизм в культуре «оттепели» проявил себя в разных сферах. В научном гуманитарном знании произошло «второе рождение» Михаила Бахтина. Написанные несколькими десятилетиями раньше *Проблемы творчества Достоевского* (1929 г.), *Франсуа Рабле в истории реализма* (1940 г.), книги были теперь переизданы: *Проблемы поэтики Достоевского* – в 1963 году, *Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса* – в 1965. Идеи, высказанные в них, нашли широкий научный резонанс и оказались чрезвычайно созвучны общественному гуманитарному сознанию: доказанные на примере романов Достоевского и Рабле положения о невозможности самопознания вне диалога, множественности равноправных моделей мира, сохраняющих свою неслиянность и самоценность, наполнялись социально-этическим содержанием: в них общественное гуманитарное сознание находило подтверждение своим ожиданиям качественно нового типа взаимоотношений интеллигенции и власти.

В те же годы, в начале 1960-х, происходило становление методологического социологического семинара Юрия Левады, собиравшего для обсуждения

насуточных проблем культуры, политологии, социологии представителей различных научных сфер. Объединявшее порой до 300 человек общественное научное сообщество самым фактом своего легального существования выражало подлинно полифоническую сущность культуры той поры.

В соответствии с литературоцентризмом отечественной культуры роль самого деятельного субъекта диалога взяла на себя литературная общественность – критики, поэты, писатели, драматурги. Литература тех лет формировала способ объяснения мира и человека.

Художественное сознание воспринимало свою эпоху как рубежную, разделившую сталинское безвременье и хрущёвскую эру нравственного возрождения. Время стремилось к самоидентификации и находило самоопределения: «оттепель» (Илья Эренбург) – для эпохи, «шестидесятники» (Станислав Рассадин) – для поколения. Потребность в адекватном понятии отражала стремление осмыслить своё место в истории. Прошедшее тридцатилетие оценивалось как пора Великого Молчания:

Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны.
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца
(Осип Мандельштам).

Современность нуждалась в Большом Слове, правдивом и искреннем, очищенном от официально-казённой фальши. Эту миссию взяли на себя литераторы.

Повышенная рефлексия характеризовала в те годы критику – самосознание литературы. В ней происходило не только новое осмысление традиционных проблем (дискуссии о драматургии, лирике, молодой прозе, литературном герое, принципах соцреализма, назначении критики), но и выявлялись позиции противоборствующих сторон, определялись группировки ортодоксов и либералов. Показательно, что по коренным вопросам (признание соцреализма как художественного метода советской литературы, требование вдумчивого отношения к действительности, внимание к личности) разночтений между лагерями не обнаруживалось. Однако мировоззренческие позиции, эстетические концепции, зачастую семантика основных понятий оказывались различными. Например, не оспаривалось признание соцреализма неизменным художественным методом. Но если Владимир Ермилов (*За социалистический реализм*, «Правда» 3 июня 1954 г.), Алексей Сурков (*Под знаменем социалистического реализма*, «Правда» 25 сентября 1954 г.) отстаивали «чистоту канона», то Владимир Померанцев (*Об искренности в литературе*, «Новый мир» № 12, 1953 г.), Константин Паустовский (*Высокое призвание*, «Литературная газе-

та» 10 октября 1953 г.), Константин Симонов (*О дискуссионном и недискуссионном*, «Знамя» №7, 1954 г.) настаивали на недопустимости одностороннего подхода к действительности, требовали от художника готовности отказаться от догм, заведомо готовых решений, осознать неоднозначность и многосложность действительности, пробуждать мысль и душу читателей, искать вместе с автором способы преодоления социальных недостатков. При этом ни ортодоксы, ни либералы, сгруппировавшиеся впоследствии вокруг журналов «Октябрь» (гл. ред. Всеволод Кочетов) и «Новый мир» (гл. ред. Александр Твардовский), не опровергали идею партийного руководства литературным процессом. Такая возможность всерьёз не обсуждалась. А значит, в условиях патронатных отношений государства и общества диалог продолжал вестись с позиции «сверху – вниз»: власть осуществляла руководство через резолюции и постановления, литературная общественность их реализовала. В таком случае либеральная часть творческой интеллигенции была вынуждена отрабатывать тактику манёвров: расширять границы дозволенного, увеличивать, по возможности, пространство существования. Например, в октябре 1953 года, накануне XIV пленума Правления Союза Писателей, Борис Лавренёв и Владимир Пименов выступили со статьёй *Формальная опека или творческое руководство* («Литературная газета» 15 октября 1953 г.), наметившей главный объект борьбы антидогматических сил последующих десятилетий – цензуру. Литераторы призывали избавить театры от излишней опеки Главреперткома и сделать творческие коллективы подлинными хозяевами своего репертуара. Умонастроения авторов статьи соответствовали в тот момент антисталинским веяниям в руководстве страной и определили в целом благодушную реакцию на идеи, которые спустя десяток лет будут вызывать гнев и негодование со стороны власть придержащих.

В целом руководство культурой в начальный период «оттепели» напоминало «качели»: от репрессий (отставка Твардовского с поста главного редактора «Нового мира» в 1954 г., травля Бориса Пастернака, разгром выставки художников в Манеже, «воспитательные меры» в отношении Андрея Вознесенского, Василия Аксёнова и прочие акции Хрущёва) до поддержки (открытие театров «Современник», «Таганка», появление журнала «Юность» и т. д.). При этом отклик на инициативы «снизу», от художественной общественности, определялся всякий раз внутривластными соображениями. Геннадий Полока вспоминал, как, будучи студентом последнего курса режиссёрского факультета ВГИКа, он выступил на комсомольском собрании вуза с заявлением о невозможности выполнить постановление правительства об увеличении количества выпускаемых картин. В тот же день он имел телефонный звонок из ЦК партии с предложением письменно изложить свои соображения. В результате вуз получил новое здание, построенное в рекордно короткие сроки, возможность для студентов снимать дипломные картины на производстве и прочие льготы,

превратившие ВГИК в подлинную «кузницу кинематографических кадров»¹. Схожие примеры можно найти и в литературе: выход в печать рассказа Александра Солженицына *Один день Ивана Денисовича* санкционировал ЦК и лично Хрущёв, он же поддержал Евгения Евтушенко после публикации стихотворения *Наследники Сталина*. Но всякий раз за этим стояли внутрипартийные причины: желание Хрущёва ослабить просталинскую группировку в руководстве – в случае Солженицына, опасения укрепления авторитарных режимов в Албании и Китае – в случае с Евтушенко. Таким образом, по отношению к общественности, рассчитывающей на возможность открытого диалога, государство стояло на позиции его имитации. Преследуя свои собственные внутрипартийные цели, власть осуществляла квазидialog.

Не имея возможности знать скрытую логику правительственных акций, творческая и гуманитарная общественность продолжала ратовать за паритетные отношения, жила с ощущением коммуникативной продуктивности. В повседневной культуре «оттепели» это породило феномен интеллигентских «кухонь» – гибрида литературных салонов и политических клубов. В них выплёскивались эмоции и кристаллизовалась мысль, находила выход потребность в осмыслении времени и себя. Людмила Алексеева вспоминала об этом так: «Людей как прорвало, они стали говорить друг с другом, даже со встречными на улице – такой был отложенный спрос на общение. Именно тогда начались эти безумные московские компании: те, кто жил в это время, помнят, мы только и делали, что ходили из компании в компанию. Моя университетская подружка сказала тогда: мы не сопьёмся, мы *стреплемся* (курсив автора – Е.С.). Потому что пили мало (на большую компанию одна бутылка на вечер), а разговоры были чуть не до утра. Говорили, говорили, говорили, говорили...»².

Эффективность общения определяется его результативностью. Очевидно, что глубина противоречий может быть продуктивной, так как различные мировоззренческие позиции, взаимодействуя, способны стимулировать друг друга. В художественной практике тех лет именно это и происходило. Разнообразие талантов и имён, творческое многоголосие в литературе, кинематографе, живописи было порождением напряжённых диалогических взаимоотношений внутри искусства. Одним из его проявлений, в частности, явилась ориентация поэтики художественных произведений на традиции модернизма и русского авангарда: на футуристические эксперименты со словом опирались Вознесенский и поэты группы Лианозово, на традиции Серебряного века – Иосиф Бродский, на «сдвинутое» слово Андрея Платонова – Фазиль Искандер, на балаганный театр и наследие Всеволода Мейерхольда – Юрий Любимов

¹ *Монолог*: в 4 частях, ч. 4: Геннадий Полока: док. фильм, реж. О. Высоцкая. SATRip, 2012 г.

² Л. Алексеева, *Знаешь, почему я пошёл в аспирантуру? Потому что я прокурором был*, [в:] *Шестидесятники*, Москва: Фонд «Либеральная миссия» 2008, с. 20.

(спектакль *Антимиры*) и Геннадий Полока (художественный фильм *Интервенция*). Примеры художественной полифонии можно множить.

Однако ни в коем случае непродуктивен симулякр диалога. Качество общественного взаимодействия либеральной интеллигенции и власти не могло не разочаровывать обе стороны: «снизу» нарастало давление на косные формы догматизма – «сверху» ужесточилось воздействие на «отклонившихся». С 1965 по 1970-ый годы, по свидетельству Григория Свирского, состоялось 50 судебных процессов над инакомыслящими³. Глухота власти провоцировала общественность усилить «порог звука». В 1957 г., во время исключения Пастернака из ССП, некоторые литераторы в знак протеста не входили в зал голосования. В 1960-е годы, в ходе судебных процессов над литераторами (Бродским, Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, Александром Гинзбургом и др.), такие действия выглядели полумерами, их было явно недостаточно. Репрессии требовали активной защиты не личностей, а самого права на свободомыслие. Так формировалась «культура поступка» (Александр Даниэль), выражавшая самосознание поколения. Григорий Померанц описал свой внутренний позыв к социально и нравственно значимому поступку так: «Двадцать лет спустя после всенародной (Великой Отечественной войны, т.е. в 1965 году – Е.С.) я выступил в институте философии и сказал то, что думал о решении реабилитировать Сталина <...>. Я посмел и сумел сказать вслух то, что все вокруг хотели сказать и не решались. Я переступил через меловой круг <...>. Тогда впервые я перестал жалеть, что я не родился в другое время, впервые почувствовал, что среда меня не заела, что я вынес свой век»⁴. Без сомнения, нравственное соответствие истории и эпохе ощущали многие шестидесятники. Это оно заставляло противопоставлять неосталинистам и слово, и дело.

Неудовлетворённость качеством взаимоотношений перерастала в отчуждённость постепенно. «Подписные письма» начала 1960-х годов проникнуты верой в возможность сторон договориться, они созданы не врагами государственного строя, а защитниками общегуманистических ценностей, высшая из которых – человек. Неоднократно отмечалось стилистическое единообразие защитных/протестных писем и нормативных документов той поры: «Декларации протеста были фактически списаны с партийных документов» (Петр Вайль, Александр Генис)⁵. Это, действительно, доказывает единство системы координат «подписантов» и адресатов. Но был в этом, вероятно, и тактический замысел: чтобы тебя поняли, нужно перейти на язык оппонента. Зачастую такая «хитрость» срабатывала. Например, Вячеслав Стёпин, доктор философских наук, вспо-

³ Г. Свирский, *На лобном месте. Литература нравственного сопротивления 1946-86 г.*, Лондон: OVERSEAS 1979, с. 123.

⁴ Г. Померанц, *Записки гадкого утёнка*, Москва: Московский рабочий 1998, с. 210-211.

⁵ П. Вайль, А. Генис, *60-е. Мир советского человека*, Москва: Новое литературное обозрение 2001, с. 185.

минал, как в 1968 году на Пленуме ЦК Белоруссии Первый секретарь Пётр Машеров упомянул его, в то время доцента Политехнического института, как пример человека, чьи взгляды на «пражскую весну» несовместимы с позицией коммуниста. Стёпин был исключён из партии, речь шла об увольнении с работы и, фактически, о потере профессии. Но парторг факультета и ректор института пообещали «перевоспитать» молодого коллегу, если его «оставят в коллективе». Машеров смягчился, заявив, что из Стёпина может получиться со временем «хороший учёный и хороший коммунист», и за это «стоит побороться». Вскоре горком восстановил его в партии, ограничившись строгим выговором⁶. Как видим, именно языковые клише, верно найденные и вовремя использованные, в данном случае способствовали благополучному разрешению дела.

К концу 1960-х годов либеральная общественность выработала ряд поведенческих схем, сохранивших значимость в последующие десятилетия: защита «своих», гласность, массовость, тактика «опережающего удара».

1968 год оказался рубежным: ввод войск в Чехословакию обозначил конец «оттепели» и крах надежд на диалог с режимом. Общество испытало сильнейшее эмоциональное потрясение:

Танки идут по Праге
в закатной крови рассвета.
Танки идут по правде,
которая не газета.

Танки идут по соблазнам
жить не во власти штампов.
Танки идут по солдатам,
сидящим внутри этих танков <...>

Прежде чем я подохну,
как – мне не важно – прозван,
я обращаюсь к потомку
только с единственной просьбой.

Пусть надо мной – без рыданий
просто напишут, по правде:
«Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге».
(Е. Евтушенко, *Танки идут по Праге*, 1968)

⁶ Важно, чтобы работа не прекращалась...: [Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным], [в:] *Как это было: воспоминания и размышления*, Москва: РОССПЭН 2010, с. 41-42.

Демонстрация семерых на Красной площади: Наталии Горбаневской, Ларисы Богораз, Павла Литвинова, Вадима Делоне, Константина Бабицкого, Виктора Файнберга, Владимира Дремлюги – акт, равный самосожжению чешского студента Яна Палаха на Вацлавской площади в Праге. Это было проявление большой совести и непокорности:

Когда на площадь гонит стыд,
а не желанье славы,
в глазах миражем не стоит
величие державы.

(Н. Горбаневская)

Эмоциональная память 68-го года определяла поведение шестидесятников в 1970-е.

Однако внутрикультурные процессы не могут измениться в одночасье. Культура 1970-х годов сохраняла полифонический характер и оставалась не менее продуктивной, чем в предшествующее десятилетие.

В научном сознании продолжали разрабатываться идеи Бахтина: в дуальной модели культуры (Дмитрий Лихачёв, Александр Панченко, Арон Гуревич, семиотики Московско-Тартусской школы), в учении Юрия Лотмана и Бориса Успенского о существовании в одной культуре двух подсистем, находящихся в иерархическом соотношении и непрерывно противоборствующих. По мнению учёных, бинарность – свойство, типологически редкое. Она исторически вредна, но социально чрезвычайно активна, определяет эсхатологический характер русской культуры и радикальные перевороты в национальной системе ценностей (Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский *Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века)*). Этот вывод исследователей в эволюции их научных воззрений принял форму национальной самокритики русской культуры и, без сомнения, явился отражением общественной ситуации 1970-х годов.

Научная продуктивность идей Бахтина о диалоге, полифонии и народной культуре определила не только специфику культурологического дискурса в отечественном гуманитарном знании, но и в редуцированном виде по-прежнему отражалась в общественном сознании гуманитарной и творческой интеллигенции 1970-х годов. Среди гуманитариев нарастала «мода на Бахтина»: чтение его книг считалось обязательным этико-эстетическим признаком мыслящего человека. Например, Станислав Савицкий, исследователь ленинградского андеграунда, перечисляя корпус книг, владевших умами представителей художественной контркультуры тех лет, называл книги Бахтина наряду с произведениями Кафки, Джойса, ОБЭРИУ, наследием Козьмы Пруткова, капи-

тана Лебядкина, сведениями о дадаистах, поп-арте и проч.⁷. Растираживая идеи учёного о необходимости звучания «другого» голоса для жизнестойкости культуры, неостановимости её обновления в процессе коммуникации «нашего» и «чужого», общественное гуманитарное сознание вновь расставило свои акценты: в книгах Бахтина считывался социально-нравственный аспект. Неофициальная культура, включая андеграунд, получила культурологическую и этическую легитимность: её право на существование было научно обосновано и не нуждалось в доказательстве. Мариетта Чудакова оценила специфику восприятия современниками мыслей учёного: «Все знали о Бахтине, все говорили о его теории. К *диалогу* (курсив автора – Е.С.) между двумя умственными движениями (официальной культурой и нонконформистами – Е.С.) никто почти не был способен. Копилось только взаимное неприятие, близящееся к ненависти»⁸. Замечание исследовательницы требует дополнительного комментария.

В 1970-е годы диалог нонконформистов и власти принял ожесточённый, а в случае диссидентов – непримиримый политический характер. Выявить позицию собеседника, уточнить собственную, произвести самоидентификацию, скорректировать поведенческие и мировоззренческие установки было уже явно недостаточно. Главное – одержать победу в политическом противостоянии. Этим целям соответствовала военная тактика, укладывающаяся в парадигму «оборона – наступление»: интеллигенция пишет письма протеста/защиты, в процессе сбора подписей распознаёт единомышленников, формирует сообщество деятельных оппонентов режиму, выходит на митинги/демонстрации – власть отвечает репрессиями. Результатом оказываются не только «маленькие победы» в «большой войне», но и дальнейшая герметизация позиции. Действительно, письмо или демонстрация со стороны интеллигенции – символический жест, означающий требование быть услышанной. При этом ответ государства предсказуем и как бы заранее заявлен: участники гражданских акций осознают репрессивный характер последствий. Руководствуясь принципом «Не могу молчать!», интеллигенция реализует свою гражданскую позицию, демонстрирует мужество перед лицом власти, а кроме того, от раза к разу убеждается в бессмысленности диалога. Все позиции прояснены, неизменны – говорить не о чем и не для чего.

Власть рассуждает так же: несанкционированная инициатива оппонента, творческая (квартирная выставка художников, самиздат), а тем более социальная, воспринимается как стремление подорвать устои государства.

⁷ Л. Лурье, Е. Вензель, С. Савицкий, *Из архивов ленинградской контркультуры 1970-х гг.*, [в:] *Россия-Russia*, Новая серия, Вып.1(9): *Семидесятые как предмет истории русской культуры*, Москва: О.Г.И. 1998, с. 21.

⁸ М. Чудакова, *Пора меж оттепелью и застоём*, [в:] *Россия-Russia, op. cit.*, с. 99.

Взаимная отчуждённость привела к монологической позиции сторон. Помню, как в частной беседе одна из диссиденток сказала мне, вспоминая те годы: «Какие мы были наивные! Возвращаясь после допросов в КГБ, мы сбивались на кухнях и говорили друг другу: „Нет, надо было сказать ему (следователю – Е.Г.) вот так... И тогда бы он ...”, – им (властям – Е.Г.) было совершенно всё равно, что мы скажем. У них всё было заранее решено...». А вот «зеркальная» история, рассказанная Юрием Орловым, одним из основателей Московской Хельсинской группы. В книге воспоминаний *Опасные мысли* он повествует о драматичной судьбе капитана КГБ Виктора Орехова. Будучи следователем по делам правозащитников, он через своих подследственных передавал диссидентам сведения о готовящихся репрессиях: обысках, арестах, высылках из страны. При этом, всякий раз получая верную информацию, неизменно подтверждающуюся, те не верили в её достоверность и, по сути, способствовали его аресту: «...некоторые диссиденты, ни разу не усомнившись, что Орехов – провокатор, довольно открыто обсуждали мистического капитана КГБ прямо под подслушивающими микрофонами, установленными в каждой диссидентской квартире»⁹. В результате осенью 1978 года Орехов получил восемь лет лагерей, которые полностью отсидел. Этот эпизод весьма показателен. Неспособность к диалогу продемонстрировали именно те, кто к нему призывал. Взращённость в одной культурной среде – советской – обусловила единство культурных кодов оппозиционеров. Каждая из сторон – неконформисты и власть – была убеждена, что не просто знает другую, но исчерпывающе понимает мотивы, цели и логику поведения. Иллюзия полного и окончательного понимания оппонента, когда его позиция не предполагает обнаружения новых смыслов, является основой монолога. Иная точка зрения в таком случае не допускает осмысления и обсуждения, а только осуждения и опровержения. Спустя годы Анатолий Кабаков оценил мироощущение своего поколения горьким признанием: «Мы жили в ящике. А в ящике рождаются уроды. Мы погибали от ненависти, которая разрушала нас изнутри».

Без сомнения, интеллектуальный и духовный герметизм с обеих сторон был рождён опасением идеологической инфильтрации: законсервироваться означало сохраниться.

Показательно, что к этому времени, концу 1960 – началу 1970-х годов, относится рождение самого слова «диссидент», авторство в употреблении которого Александр Гинзбург приписывал Леониду Пинскому, употреблявшему его исключительно с ироничным звучанием. В обиходе советской интеллигенции понятие освободилось от первоначальной иронии и применительно к неконформистам, занимавшим радикальную социальную позицию, стало играть

⁹ Ю. Орлов, *Опасные мысли. Мемуары из русской жизни*, Москва: Захаров 2008, с. 223.

роль «маркёра», обозначавшего лагерь «своих», открыто противостоящий власти, – «чужим».

Взаимоотчуждение визуализировалось в символических жестах – насильственной высылке или добровольной эмиграции, бегстве из страны. Семантика акций всякий раз едина: взаимодействие сторон абсолютно бесперспективно, его следует только прекратить. Вновь мы обнаруживаем неслучайное стилистическое совпадение: власть и оппозиция говорят на одном языке и с лёгкостью читают текстовые послания друг друга.

Итак, позиция противоположной стороны исключается из коммуникации. Контркультурные явления в таком случае не просто выпадают из общекультурного процесса из-за невозможности свободного доступа к зрителю/читателю, а сознательно выводятся из него самим автором. Чудакова вспоминала примечательный разговор тех лет с бывшей однокурсницей, женой известного шестидесятника:

– А что сейчас пишет С.?

– Ничего! Сейчас же невозможно печататься.

– Да нет, всё-таки можно... Вот в первом номере «Вопросов литературы», вы видели, наверное, – моя статья *Творческая история „Мастера и Маргариты“* – несколько лет назад её ни за что бы не напечатали...

Она воззрилась на меня в удивлении <...> она <...> не знала даже, как отнестись к моему сообщению: оно не укладывалось в уже выстроенную картину мира¹⁰.

Смена адресата с широкой аудитории на келейную имела неоднозначные последствия. С одной стороны, контркультура сформировала параллельное художественное пространство: свободную печать вместо подцензурной, неофициальные художественные выставки, спектакли, концерты, представлявшие альтернативную эстетику, научные семинары, посвящённые «диссидентским» дисциплинам – антропологии, религиозной этике, социологии и проч. Благодаря этому были намечены новые парадигмы развития культуры и многие артефакты спасены от уничтожения. С другой стороны, произошло обеднение и общекультурного процесса, «выхолощенного» и «стерилизованного» (негативная тенденция, проявившая себя в полную меру в конце 1970-х-начале 1980-х годов), и периферийного, творческое наследие которого в целом беднее легальной литературы и искусства той поры.

Диалог сместился внутрь своей среды – в пространство единомышленников. В самиздате, объединённые одним врагом, мирно сосуществовали разнообразные социально-политические, этико-идеологические, эстетические концеп-

¹⁰ М. Чудакова, *op. cit.*, с. 109.

ции. Например, в «Комитет прав человека» (1970-1973 гг.) на равных входили Андрей Сахаров и Игорь Шафаревич. Националисты и демократы, почвенники и либералы, «западники» и «славянофилы» интенсивно взаимодействовали в самиздатских журналах различного толка. «Они исповедовали противоположные взгляды, но это не мешало им пользоваться в своей деятельности одними и теми же средствами и сидеть в одних и тех же лагерях», – справедливо, хотя и не без иронии заметил по этому поводу Александр Даниэль¹¹.

Диссиденты оставили значительное количество свидетельств эпохи, среди которых преобладают воспоминания. Антропоцентричный жанр, где «Я» рассказчика стоит в центре художественной картины мира и сквозь призму собственной биографии оцениваются события отечественной истории и судьбы современников, можно считать вариантом автодиалога: с собой – о пройденном пути, с единомышленниками – о преданности общему делу, с потомками – о подлинной цене демократических свобод. Но присутствует в них и другой адресат – «мировое общественное мнение». Анатолий Марченко в книге *Мои показания* (1969 г.) заявлял: «Я хотел бы, чтобы это моё свидетельство <...> стало известно гуманистам и прогрессивным людям других стран»¹². Ориентация на западного читателя смещает авторскую оптику: картина мира, созданная для не посвящённой в тонкости советской жизни аудитории, должна быть простой, ясной, укладывающейся в лаконичные схемы. Солженицын в книге *Бодался телёнок с дубом* (1975 г.) повествует историю своих взаимоотношений с редакцией «Нового мира». Марченко (*Мои показания* (1969 г.)) рассказывает о положении политзаключённых в советских тюрьмах, Владимир Буковский (*И возвращается ветер ...* (1978 г.)) – об использовании психиатрии в репрессивных целях, Орлов (*Опасные мысли* (1990 г.)) – о противостоянии правозащитников советской системе. При очевидном разнообразии авторы создают однотипную модель мира, исчерпывающуюся несколькими умозаключениями:

1. Советское государство бесчеловечно. Оно изобретательно в способах подавления свободной воли и независимого ума;
2. Советская власть исторически бесперспективна, обречена с момента возникновения;
3. Современный период советской истории – время стагнации. Колосс на глиняных ногах рухнет при активном сопротивлении граждан;
4. Советский народ одурманен пропагандой, но начинает медленный путь духовного освобождения и всё активнее поддерживает инакомыслящих в их борьбе («Письма поддержки» от трудящихся – неперенный атрибут советской периодической печати – используют в своих работах и диссиденты);

¹¹ А. Даниэль, *Диссидентство: культура, ускользающая от определений*, [в:] *Россия-Russia, op. cit.*, с. 114.

¹² А. Марченко, *Мои показания*, Москва: О.Г.И. 2005, с. 7.

5. Мировая общественность и советский народ должны знать борцов с режимом поимённо (перечисление имён единомышленников – обязательный элемент автобиографий диссидентов);

6. История движется поступательно, нравственная правота и социальная справедливость на стороне инакомыслящих, следовательно, победа будет на их стороне.

Клановость сознания диссидентов проявляется в текстовых переключках. Одна из метафор Буковского «медведь и колода» отсылает к «телёнку и дубу». Композиция книги *И возвращается ветер...* открытая, завершается сценой депортации из СССР, как и у Солженицына. Имеется, кроме того, множество схожих сцен. Марченко говорит о Владимирской тюрьме, как о «круге ада», вступает в прямой спор с автором *Ивана Денисовича* в сценах описания работы ээка, многократно упоминает Солженицына. Например: «Один Солженицын осмелился написать правду, да и то не всю»¹³. Орлов же, как правозащитник из круга Сахарова, Солженицына не упоминает, хотя основные элементы конструкции в его книге те же, типологически общие.

Взаимоцитирование, аллюзии – свидетельство не только межтекстовых связей, но и исчерпанности смыслов, неизбежный итог монологической мировоззренческой позиции. Отрицание советских идеологем не гарантирует позитивного знания и понимания сути явлений. Результатом оказалось не познание законов социальной действительности, а создание антимифов взамен официальных. Запад – наш враг, душитель народной демократии, утверждает официальная идеология. Запад – наш друг, защитник подлинной демократии, убеждены диссиденты. Так борьба за истину превратилась в разновидность догматизма. «Все служения прекрасны, пока не становятся одержимостью», – заметил Померанц¹⁴. Правоту этих слов подтвердила логика развития советского диссидентства.

В книге *Записки гадкого утёнка* философ признался: «Я примкнул бы к вероисповеданию, которое скажет: мы все неудачники. Мы не преобразили мир. Но вы тоже не преобразили его. Не будем спорить, кто лучше. Мы все хуже, и становимся ещё хуже, когда воображаем себя лучше. Будем учиться друг у друга и вместе вытаскивать мир из беды»¹⁵. Эти глубокие слова сказаны шестидесятником. Они пронизаны подлинным диалогизмом, увы, не определившим логику развития отечественной истории.

¹³ Там же, с. 269.

¹⁴ Г. Померанц, *op. cit.*, с. 215.

¹⁵ Там же, с. 25.

SUMMARY

Destruction of dialogism in soviet culture in 1960-1970-s

The article is devoted to the problem of interaction of Soviet liberal intelligentsia and power. The author states that in beginning of the 1960-s the liberal intelligentsia hoped to establish equal relationships with state authorities, but they only simulated a dialogue with society. Alienation between intelligentsia and the state increased at the end of 1960-s – beginning of the 1970-s, and both sides acquired monologue positions. Isolation of positions made both sides poorer in those years.